

А.Ф.Кофман

Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе

В статье представлены и проанализированы все значительные произведения и суждения о дореволюционной России испаноамериканских политических и культурных деятелей, таких, как Ф.Миранда, Х.Марти, Э.Гомес Карильо, Р.Дарио, А.Кастиньейрас. Этот материал позволяет сделать вывод о том, что в Испанской Америке первоначальными и главными источниками формирования образа России стали русская литература и культурфилософия, и потому его «каркасом» послужили те мифологемы и константы, которые закрепились в русской культуре.

Ключевые слова: Испанская Америка, образ России, литература, мифологема, стереотип.

В самосознании этноса образ «другого» возникает и актуализируется в первую очередь по отношению к соседним этносам, поскольку с ними устанавливаются постоянные межэтнические контакты, с ними приходится либо уживаться, либо воевать. Закономерно, что в Испанской Америке интерес к России вплоть до конца XIX в. был минимальным — слишком далекой, чуждой и неизвестной была для Америки эта страна, лежавшая за границами западноевропейского мира. Если какие-то сведения о России и доходили, то через западноевропейские, главным образом, французские источники.

Впрочем, имеется исключение: с сентября 1786 по сентябрь 1787 г. в

России прожил «апостол» Войны за независимость испаноамериканских колоний Франсиско де Миранда — возможно, он стал первым из латиноамериканцев, посетивших нашу страну. Его российские дневниковые записи были опубликованы лишь в 1929 г., поэтому они не могли служить опорой для формирования образа России в Испанской Америке; тем не менее, любопытно посмотреть, как просвещенный латиноамериканец, напитанный идеями Просвещения, воспринял российскую действительность эпохи правления Екатерины II.

Но прежде следует высказать несколько общих соображений о механизмах формирования образа другой нации. В них задействованы три со-

Андрей Федорович Кофман — доктор филологических наук, заведующий отделом литератур Европы и Америки новейшего времени Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН (andrey.kofman@gmail.com).

ставляющие. Первая — тот априорный образ страны, который был сформирован в сознании автора до непосредственного контакта по произведениям искусства и прочим источникам. Вторая составляющая — и ее всегда следует учитывать — это национальность, культурная и профессиональная принадлежность автора, его идеологическая ориентация и особенности его индивидуального мышления — все это во многом определяет модус восприятия, ту или иную степень тенденциозности, отбор деталей для построения образа. Наконец, третья составляющая — непосредственные впечатления, которые могут полностью или частично совпасть с прообразом, но могут его радикально опровергнуть.

В случае с Мирандой первая составляющая почти отсутствовала, т.е. его восприятие России не было отягощено теми стереотипами и предзаданными позициями, какие бывают свойственны образам «другого», устоявшимся во времени. Миранда был очень хорошо встречен в России; его радушно принимали высокопоставленные вельможи, ему покровительствовала сама императрица и даже предлагала ему остаться в стране. Тем более показательно, что на этом положительном фоне («О, как добры эти люди и как приветливы!») в дневнике Миранды обнаруживается ряд негативных характеристик и острых оппозиций, которые впоследствии войдут в образ России, сложившийся в Америке, и в странах Европы.

Одна из констант связана с восприятием природного пространства России — бескрайнего, прекрасного, изобильного и первозданного: «Боже мой, какие великолепные панорамы, какие виды открываются повсюду в этой стране! Без сомнения, это одно из самых прекрасных творений природы, ибо искусство здесь участвовало очень мало, либо вовсе не участвовало!» «Леса дают столько древесины, что люди расходу-

ют ее поистине расточительно». Удивительным кажется этот восторг жителя Южной Америки с ее обилием первозданного природного пространства, многообразием пейзажей и бескрайней сельвой; но эти чувства будут испытывать все латиноамериканцы, побывавшие в России. Однако образ прекрасной изобильной природы вступает в глубокое противоречие с нищенским угнетенным положением народа. Сразу же вслед за восхвалением русской природы следуют горестные наблюдения и размышления: «...Я рассматривал жилища и одежду из грубого лыка этих несчастных рабов, чья жалкая судьба, как видно, немногим отличается от судьбы невольников в иных дальних пределах. У них здесь нет ни садов, даже самых маленьких, хотя они могли бы сбывать урожай в столице с немалой выгодой для себя, ни хозяина, который заботился бы об их просвещении, о совершенстве их хозяйства, земледелия, и тем самым научил бы их обеспечивать себе сносное существование. (...) Однако я замечаю, что, напротив, чем ближе расположена деревня к господскому двору, тем более убогими выглядят ее обитатели». И далее: «Я обратил внимание, в сколь неразвитом состоянии находится в этой стране такая важнейшая отрасль хозяйства, как земледелие». Так возникает оппозиция природное/социальное, которая и в дальнейшем послужит одной из «несущих конструкций» образа России.

Так же отчетливо в дневнике Миранды обозначена оппозиция варварство/культура, столь актуальная для интеллектуала эпохи Просвещения. Важно отметить, что эта антиномия воплощается в довольно сложной системе измерений. Народ, живущий в темноте и в нищете, сохраняющий некоторые «нецивилизованные» обычаи, представляет стихию варварства; но, как видно из вышеприведенной цитаты, этому варварству потворствуют и «культурные», дворянские слои населения —

тем, что держат крестьян в рабском и скотском состоянии; лишь императрица, образец просвещенного монарха, старается насаждать культуру. Кроме того, дворяне причастны к стихии варварства в силу собственной недостаточной просвещенности, которая проявляется не только в социальном аспекте, в их отношении к народу, но также в неразвитости их эстетических вкусов. В пышных интерьерах дворцов Миранда постоянно отмечает эклектику и кричащую безвкусицу, и даже посетив Эрмитаж с его богатейшими коллекциями, он пишет: «Рассматривая собрание этих и других картин и иных произведений искусства, не перестаешь по меньшей мере удивляться тому, как можно допустить, чтобы рядом с прекрасной картиной и чудесным изобретением находилась ничтожная мазня или безвкусная поделка, а это именно так»¹.

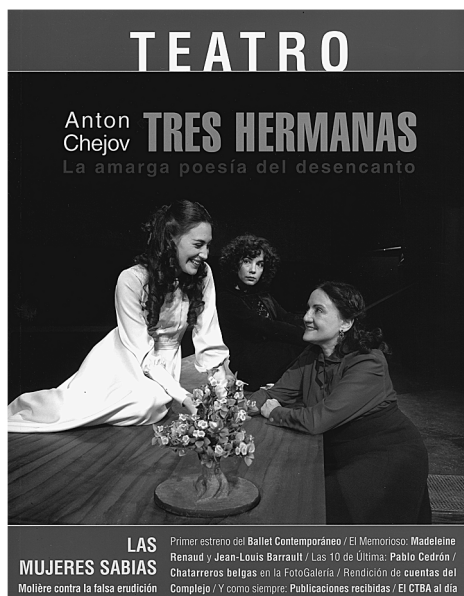
До последней четверти XIX в. в испаноамериканской эссеистике и литературе обнаруживаются крайне редкие и мимолетные упоминания о России. Эта ситуация радикально изменилась на рубеже веков, и первопричиной вспыхнувшего в Латинской Америке интереса к России послужила русская литература, сыгравшая роль связующего звена между двумя столь отдаленными культурами. Подробно об этом написано в Приложении к третьей книге «Истории Литератур Латинской Америки»²; здесь же будут обозначены лишь самые существенные моменты.

Поначалу роль посредника между Латинской Америкой и Россией играла Франция, где были переведены отдельные произведения Пушкина, Гоголя и Тургенева. Но с конца XIX в. эта роль перешла к Испании: в 80-е годы здесь вышли в переводе на испанский язык основные произведения Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского; позже — Чехова, Горького и Андреева. Крупные издательства Мадрида и Барселоны,

выпускавшие русскую литературу, имели свои филиалы и магазины в ряде стран Латинской Америки, поэтому новые книги доходили до американского читателя непосредственно и практически без временного зазора. Тем же путем в Америку попало и первое исследование о русской литературе на испанском языке — книга известной испанской писательницы Эмилии Пардо Басан «Революция и роман в России» (1887). Горячая поклонница русской культуры, переводчица «Слова о полку Игореве», Пардо Басан в своем труде особо акцентировала общественную роль русской литературы и характерный для нее пафос страдания и сострадания³.

Огромную популярность в Латинской Америке приобрела фигура Толстого — не столько даже его художественное творчество, сколько его проповедническая деятельность. Об этом свидетельствуют как найденные в архиве Толстого полторы сотни писем от латиноамериканских читателей, так и предпринятые в Чили попытки организации толстовских колоний. Одна из них, основанная в 1904 г., объединяла интеллектуалов, среди них были в будущем известные чилийские писатели Аугусто Д'Альмар, Карлос Пессоа Веллис, Бальдомеро Лильо и Фернандо Сантиван, который изменил свое имя Сант-Ибаньес на русский лад, а впоследствии написал книгу «Воспоминания толстовца» (1955) о жизни колонии. Почти одновременно в Сантьяго-де-Чили возникла колония толстовцев-пролетариев, поклонников одновременно Толстого, Бакунина и Кропоткина.

Вслед за Толстым по всей Латинской Америке прогремело имя Горького — интерес к нему не в последнюю очередь привлек великий латиноамериканский поэт Рубен Дарио, который в 1902 г. опубликовал о нем очерк и в том же году перевел с французского его роман «Фома Гордеев». Наибольший резонанс творчество Горького имело опять-таки



Русская литература и в XXI в. отвечает запросам латиноамериканской культуры. Анонс спектакля «Три сестры». Журнал «Teatro». Аргентина, 2008 г.

в Чили — и не случайно: в этой промышленно развитой стране возник особый тип люмпена, так называемый «рото», во многом похожий на горьковских босяков и получивший широкое отражение в национальной литературе. Горький быстро стал еще одним кумиром чилийских толстовцев. Наконец, в 10-е годы XX в. в Латинской Америке начинается бурное увлечение Леонидом Андреевым — по свидетельству П.Неруды, заглавному герою повести «Сашка Жегулев» «тогда подражала мятежная латиноамериканская молодежь»⁴.

В Латинской Америке такое сочетание русских кумиров — Толстой, теоретики анархизма, Горький, Андреев, а к ним в интеллектуальных кругах прибавлялся Достоевский — вовсе не казалось противоестественным. С одной стороны, молодая латиноамериканская культура в силу особенностей своего формирования всегда пластично воссоединяла самые различные идеологические и культурные влияния, приспосабливая их к собственной духовной си-

туации и для нужд своего культурного развития. С другой — влияние русской литературы пришлось на эпоху расцвета испаноамериканского модернизма — течения, идеологически противостоявшего как прагматическому позитивизму, так и поверхностным романтическо-костюмбристским формам воссоздания национальной действительности. Отрицавшие схемы, догмы, эстетические каноны, устремленные с поверхности явлений к глубинной сути вещей, в том числе к глубинам психологии, модернисты первыми почувствовали и сформулировали некую общность русской культуры, русского духа с латиноамериканским самосознанием, которое именно в ту эпоху ясно отмежеввалось от западноевропейского и североамериканского прагматизма и рациоцентризма. Пафос антипрагматизма и антирационализма в высшей степени свойственен русской литературе рубежа веков, что получило формульное выражение в реплике Разумихина, героя Достоевского, о том, что человеку надобно не одного лишь «разумного хотения». Напряженный поиск смысла жизни, стремление героев выйти за свои пределы, душевные изломы, саморефлексия, социальная озабоченность, беспощадный реализм, бунтарский дух, включая «анархический евангелизм» Толстого, истовая духовность, проповедническая функция, мессианизм — все эти столь разнородные черты русской литературы соответствовали запросам латиноамериканской культуры. Это ясно осознавали сами латиноамериканские писатели и об этом прямо говорили. Так венесуэльский прозаик Артуро Услар Пьетри отмечал: «Нас сближали сокровенная близость мироощущения, склонность к фатализму, трагическое восприятие жизни, мистицизм огромных пространств, таинственного одиночества»⁵. Кроме того, латиноамериканцы чувствовали и типологическую общность своей и русской культур, развивавшихся на обо-

чине западноевропейской цивилизации, в тяготении к ней и в отторжении от нее.

Из латиноамериканских писателей конца XIX в. самый впечатляющий духовный портрет русского человека создал Хосе Марти в статье, опубликованной в аргентинской газете «Nación» о выставке Верещагина, проходившей в Нью-Йорке в январе 1889 г. Великий кубинский поэт не бывал в России, да и вряд ли тесно общался с русскими, которых, в отличие от нынешних времен, в США, в Мексике и тем более на Кубе практически не было. А это значит, что портрет создавался на основе прочитанной русской литературы (в ранее написанной статье «Пушкин» кубинский поэт явил очень основательные познания в русской литературе XIX в.). Имеет смысл привести эти фрагменты полностью:

«Русский народ изменит мир. Патриархальный, наивный, как дитя, и возвышенный духом, он — то камень, источающий кровь, то — крылатый змий с железными когтями. Русский умеет беззаветно любить и умеет беспощадно разить насмерть. Этот народ — словно крепость, стены которой увиты плющом, где под замшелыми камнями таятся ползучие гады, а внутри прячется белая горлица. Русский одет во фрак, под которым — латы. Если он садится за трапезу, то это пир; если принимается пить, то уж бочками; его танец — это буря; на коне он — вихрь; его наслаждение — это неистовство; у власти он сатрап, в услужении — раб; его любовь либо окутывает негою, либо разит смертельно. Во взгляде русского человека всегда просвечивает первозданность животного мира, словно бы природа только что сотворила человека из волка и льва, дав ему в подруги обращенных в женщину лисицу и газель. Первобытная страсть светится в огневом, восточном русском взоре; эти глаза могут быть кроткими, как у голубя, предательски изменчивыми, как у кошки, и гневно мутными, как у гиены. В

русском человеке есть живость и страстность, взрывы гнева и шепот неги, душевная открытость и скрытая сила. Облаченный во французское платье, он неуклюже топчется, словно Геракл, одетый в неподобающий мужу наряд. Русский надевает белые перчатки, чтобы сесть за стол, где на блюде дымится целый медведь»⁶.

В этой характеристике Марти обращают на себя внимание следующие моменты. Прежде всего, глубокая противоречивость образа русского человека, сочетающего в себе противоположности: начало звериное и человеческое, варварство и цивилизованность, Восток и Запад, возвышенное и низменное, доброту и жестокость. Вторая «несущая конструкция» образа связана с комплексом примитивистских идей: русский человек, по Марти, отличается особой близостью к природе, к корням, к естеству; это человек чувства, а не разума, спонтанный, наивный, как ребенок. Между прочим, те же характеристики латиноамериканские художники применяли по отношению к модельному образу латиноамериканца, противопоставляя его западноевропейцу. Третья константа, формирующая русский характер, — отсутствие чувства меры: что бы ни делал русский, он ни в чем не знает удержу, во всем старается выйти за пределы нормы. Но все это пестрое и противоречивое сочетание черт национального характера внушает веру в мессианскую роль русских, которым суждено «изменить мир», — веру, безусловно, почерпнутую из русской литературы и общественной мысли.

Но в сфере русской культуры с ее противоборством славянофильской и западнической тенденций был создан амбивалентный образ русского народа, и Марти чутко уловил западнические идеи и мифологемы. Поэтому в конце статьи он, вновь обратившись к обобщениям, добавляет неожиданный пассаж, где отмечает ряд негативных черт «младенческого неоформленного на-



Карикатура на Николая II. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Обложка журнала «L'Assiette au Beurre», февраль 1905 г., Париж

рода», и этот фрагмент, по сути, вступает в глубокое противоречие с мессианскими чаяниями: «В России... славянин-богатырь сплавляет в своем составе два типа — завоевателя и варвара, откуда и происходит столь странное сочетание двух начал: жизненная сила, мощь характера, жажда воли и простора, которые он унаследовал от своих предков, средневековых воителей, могучих, как горные вершины, и меланхоличных, как русские равнины, и — ужасающая смятенность духа, которую переживает этот народ, испытавший извращающее влияние чужой цивилизации, но не составивший пока своей собственной. Граф и мужик, князь и извозчик, кто пьет шампанское во дворце, кто водку в избе — все одинаково никнут головою в тоске оттого, что в сердце своем они не находят свободы.

У них нет веры ни во что, потому что нет веры в самих себя; беспощадный кнут постоянно занесен не только над спиной селянина, но и над помыкающим им барином: и тот, и другой одинаково ущербны, поскольку оба

лишены внутренней свободы личности, и тяжесть этого страдания сильнее боли неразделенной любви, мучительнее духовного одиночества поэта; вовлеченные во всемирный порыв радостной устремленности к свободе, они страдают от своей несвободы подобно скопцу, терзающемуся неизбывною мукою при виде чужого блаженства, и отчаяние свое, вызванное ощущением безнадежного увечья, и помноженное на ярость гордого народа, покорителя степей, они с жестокостью обрушивают на еще более обездоленные народы, изливая таким образом боль от своего собственного убожества»⁷. При отсутствии веры и внутренней свободы, при глубочайшей ущербности, которая вымещается в имперском насилии, — о каком обновлении мира можно говорить? Статья Марти противоречива, как созданный им образ русского народа, и фактически завершается знаком вопроса.

Западнический модус восприятия русских, породивший собственный набор стереотипов, получил развитие и углубление в книге первого известного латиноамериканского писателя, кто побывал в России и написал о ней по личным впечатлениям. Это был гватемальский прозаик, яркий представитель испаноамериканского модернизма Энрике Гомес Каррильо, который в 1905 г. вместе с директором журнала «Liberal» посетил Россию, чтобы информировать испаноамериканских читателей о ходе русско-японской войны. Репортажи Гомеса Каррильо публиковались в европейской и в латиноамериканской прессе и получили широкую известность, а в 1906 г. вышли на испанском языке в Париже отдельной книгой под названием «Современная Россия».

Гомес Каррильо попытался создать всеохватную картину российской действительности, отразив как политическую и экономическую ситуацию в стране, так и обычаи, особенности менталитета русского народа. И эта карти-



Сцена из спектакля «На дне». МХАТ, 1902 г.

на в целом получилась весьма безотрадней. Гватемальский писатель решительно избавляется от тех, условно говоря, «романтических» мифов и восторгов по поводу патриархальности, природности, наивности, широте русской души, какие представлены в высказываниях Марти, и претендует на трезвый социологический анализ с фактами и цифрами в руках; но его социология насквозь пропитана литературностью и поэтичностью и как следствие субъективностью, а в стихии поэтического рождаются новые мифы.

В видении Гомеса Каррильо основу основ политической, экономической и духовной жизни России составляет страх, охвативший все социальные слои, — от забитого крестьянина до царя. Чем выше по социальной лестнице, тем сильнее страх, достигающий апогея в царском дворце: «В этой безмерной империи ужаса более всего мучим страхом монарх. По меньшей мере, в этом отношении выявляется его верховенство над остальными. Дрожь остальных, кого на каждом шагу преследует призрак Сибири, — это всего лишь легкий озноб, в сравнении с тряской от

ужаса, этой непрерывной пыткой императорской особы». (...) О, бедный властитель сотен миллионов подданных! Сколь жалок он, беспричинно дрожащий, вечно дрожащий!». По убеждению автора, в России «каждая попытка реформирования была продуктом страха. Непрекращающийся страх становится стимулом реформ. Только страх!». Но он же, страх, не позволяет проводить реформы решительно и до конца, отчего вся русская политическая система грешит непоследовательностью и половинчатостью. «Русские правители хотят быть строгими — но не чересчур, проводить реформы — но не до конца, удовлетворить тех, кто просит, и не разозлить тех, кто ничего не просит». Как видно, этот тезис прямо противоположен мифу о широте русского человека, который за что ни возьмется, все доводит до предела. Впрочем, это обобщение несколько противоречит тому, что автор говорит об авторитарном режиме России, — в нем-то как раз наблюдается полная и жестокая определенность: «Россия уже многие века находится в оковах инквизиторской

полицейской»; «Политический режим России отличается необыкновенной суровостью. Все запрещено, не выносятся ни малейшей критики, ничего не прощается». Как видно, нарисованная гватемальцем картина политической жизни России куда больше соответствует реальности сталинского, нежели царского режима, но именно так просвещенный латиноамериканец воспринял российскую действительность.

И даже истовая религиозность русского человека — и та, по мнению Гомеса Каррильо, проникнута страхом: «Перед иконой... православные падают на колени с бесконечным ужасом и дрожат, когда осеняют себя крестом... Дело в том, что они этих святых, безусловно, воспринимают как суровых блюстителей Божьих законов, блюстителей беспощадных и мстительных». (...) Эти пышные и жестокие иконы представляют христианство азиатского толка, сплавленное с мистическими теогониями Индии».

Особенно решительно Гомес Каррильо расправляется с мифом о русском крестьянине — «патриархальном ребенке» с его «естественными добродетелями». «Русские крестьяне — вовсе не такие, какими их изображал Тургенев, — пишет он. — Это гнусные, жалкие существа, грубые рабы неблагодарной земли. Лишенные романтического ореола, они предстают в своем подлинном обличье: убогие создания, чьи души непрестанный голод наполнил низменными инстинктами. Все хотят скопить денег, чтобы стать ростовщиками и эксплуатировать соседей. Также они мечтают, чтобы соседи разорились и ушли в город, и за счет их земель увеличить собственные наделы. Единственное, на что уходят их умственные способности, — это изыскивать ходы, чтобы платить поменьше налогов. Они всегда лгут. Единственный предмет их обожания — водка»⁸.

В столь же неприглядном обличье предстают рабочие: «Между русскими

рабочими и пролетариями свободных стран, таких, как Франция, Италия, Бельгия, пролегает бездна. Русские рабочие — все еще рабы, порождение темных невежественных эпох, рабы, которые просят только одного, того же, что просят звери: получать пищу, не умереть с голода, иметь гнездо, в конце концов, просто существовать!». Единственно кого превозносит Гомес Каррильо, — это террористов из среды студенчества и интеллигенции, ведущих самоотверженную героическую борьбу за свободу: их он уподобляет раннехристианским мученикам.

Если бы Гомес Каррильо воспринимал Россию как латиноамериканец, то он, несомненно, отметил бы моменты сходства политической, социальной ситуации России с положением ряда латиноамериканских стран (той же его родной Гватемалы), где практиковались очень жесткие формы эксплуатации рабочих и особенно крестьян при сохранении диктаторских режимов. Но в книге нет ни единого упоминания о Латинской Америке. Гватемальский писатель смотрит на Россию взглядом просвещенного европейца, поэтому центральное место в книге занимает оппозиция Европа/Россия, которую автор, выступающий с западнических позиций, интерпретирует как оппозицию Европа/Азия. Безотрадное положение России в сравнении со «свободной Европой» он объясняет тем, что «русская душа все еще полна азиатской сущностью (*arcanos asiáticos*)». Фактически же Россия находится в межуточном пространстве, на перекрестке миров — эта мысль ясно звучит при описании Петербурга. Заснеженный, он представлял собой величественное и «самое экзотическое зрелище»; но стоило снегу растаять — «и теперь, когда покровы упали, мы замечаем, что Европа осталась по ту сторону границы... и что этот город, на самом деле, — не более чем перекресток, где проходят азиатские расы». Оппозиция Европа/Азия,

разумеется, не может не затрагивать такой базовой категории, как рационализм. Если последний объявлялся принадлежностью и фундаментальной ценностью западноевропейской цивилизации, то русский менталитет выводился за рамки рационального, разумного, логики — между прочим, это был тот пункт, в котором совпадали западники и славянофилы, хотя и давали русскому иррационализму диаметрально противоположные оценки. «В России все возможно, — утверждает Гомес Каррильо. — Здесь «логика» — пустое слово, не имеющее адекватного перевода на русский язык; и выше самых серьезных договоренностей, выше самых святых обещаний остается прихоть. Единственное, с чем стоит здесь считаться, так это с неожиданностью (*sorpresa*). Во всех сферах национальной жизни властвует непредвиденность»⁹.

Как видно, книга Гомеса Каррильо вся строится на противопоставлениях, выполненных в черно-белых тонах почти без промежуточных оттенков; в особенности это касается воссоздания политической и духовной атмосферы: на одном полюсе — страх, мрак, тирания и жестокость, на другом — свет, воля к свободе и самопожертвование революционеров. Подобная интерпретация в большой мере определила восприятие латиноамериканцами политической ситуации в России: так, мексиканский модернист, поэт С. Диас Мирон, несомненно, читавший репортажи или книгу Гомеса Каррильо, незадолго до русской революции 1905 г. написал стихотворение «Царю Российскому Николаю II», звучавшее как грозное предупреждение тирану о том, что «народ, рассвирепев, / как лава жаждет грозного исхода». Другой известный поэт-модернист, боливиец Р. Хаймес Фрейре откликнулся на кровавое воскресение стихотворением «Россия». Русская революция 1905 г. вызвала горячий интерес и отклик в Испанской Америке. Латиноамерикан-

ские интеллектуалы, прежде всего модернисты со свойственным им духом бунтарства и интересом к иным культурам, восторженно приветствовали революционные обновления в России, видя в них пример для подражания. В марте 1905 г. Дарио сочинил и публично прочел в Мадриде поэму «Приветствие оптимиста», где превозносил «испанскую расу», включая в нее испаноамериканцев, а поскольку поэма была проникнута мессианскими идеями, то не случайно в ее финале возник образ России, которая уже взяла на себя мессианскую роль в грядущем обновлении человечества:

Племя латинского корня
увидит грядущего зори!
В громе торжественной
музыки уст миллионы
Будут приветствовать свет
лучезарный с Востока.
Там, на державном Востоке,
меняет и все обновляет
Вечность творца,
беспредельная сила вселенной¹⁰.

Пророчество Дарио отчасти сбылось, и «свет лучезарный с Востока», пришедший в Латинскую Америку после революции 1917 г. в виде коммунистической идеологии, радикально обновил образ России.

В заключение этого обзора следует упомянуть любопытную книгу аргентинца Алехандро Кастиньейраса «Душа России». Хотя она вышла в 1923 г., идеологически она относится к дореволюционному периоду и в каких-то моментах роднится с книгой Гомеса Каррильо, но проставляет собственные акценты и содержит ряд примечательных суждений. Автор не бывал в России и свое исследование составлял по историческим и социологическим материалам, главным образом французским; но основным источником осмысления России для него послужило творчество Достоевского — его анализу посвящена

большая часть книги. Поэтому вполне закономерно, что одной из «несущих конструкций» при создании образа России становится категория «страдание» (первая глава, посвященная истории страны, называется «Исторические этапы страданий русского народа»).

По мнению автора, «фундамент противоречивой психологии русских» заложил тот факт, что они долгое время оставались кочевым народом, далеким от «дисциплины и сложных механизмов управления» и склонным к стихийно коммунистической самоорганизации. Ссылаясь на мнение европейских авторов, Кастиньейрас утверждает, будто первоначально русский народ был «одним из самых миролюбивых народов на земле»; тем большее удивление у него вызывает то, что «народ столь мирный и богатый добродетелями породил самую кровавую и жестокую историю, а его дух бунтарства и независимости не помешал установлению самого закрытого централизма и самого деспотичного абсолютизма». Как видно, в этих суждениях все мифично: славяне изначально были оседлыми народами, не более и не менее мирными, чем многие другие; русская история вплоть до XX в. была ничуть не более, а скорее менее кровавой, чем история западноевропейских государств; как не была русская система управления ни самой закрытой, ни самой деспотичной.

Кастиньейрас объясняет это противоречие катастрофичными последствиями монгольского ига, которое раз и навсегда отделило Россию от Европы. Татаро-монголы отравили душу русского народа: если князья стали духовными наследниками ханов, восприняв их тиранию и воинственность, то народ, отлученный от государственного строительства, впал в полнейшую пассивность и в мистицизм. «Не имея возможности предаться поискам, так сказать «внешней правды», будь то политика или экономика, русский народ нашел убежище во «внутренней духовной ра-

боте», ставшей его одержимостью». Отсюда — истовая религиозность, сектантство, бродяжничество. Немалое влияние на формирование русской психологии оказал, по мнению автора, и географический фактор: бесконечность национального пространства заставляет человека чувствовать себя пылинкой и погружает его в мистику, интроспекцию.

Закономерным продуктом «внутренней духовной работы» вкупе с мистицизмом становится мессианиззм — одна из наиболее характерных черт русской психологии и культуры. Мессианскими идеями, подчеркивает автор, проникнуты все без исключения русские идеологические течения: православие, социализм, нигилизм, западничество, славянофильство. В силу этого русская революционность, в отличие от западноевропейской, направлена не столько на преследование национальных интересов, сколько носит универсалистский характер: идея национального освобождения оказывается неотделима от идеи братского единения народов; революция видится лишь как шаг на пути обновления всего человечества. При этом русская тирания породила особо разрушительный революционный дух: всякий эволюционизм отвергается, надо разрушить все и до основания. Что же касается недавно произошедшей социалистической революции, то автор благоразумно воздерживается как от ее оценок, так и прогнозов и приводит знаменитые слова Гоголя о «птицетройке», т.е. фактически завершает свои рассуждения знаком вопроса¹¹.

В заключение можно сделать следующий вывод. В Испанской Америке первоначальным и главным источником формирования образа дореволюционной России стала русская литература и культурфилософия, и потому его «каркасом» послужили те мифологемы и константы, которые закрепились в русской культуре. Речь идет о таких стереотипах, как безмерность и хаотич-

ность пространства, первозданность, первородная мощь, «таинственная русская душа», неупорядоченность русского человека (что немцу хорошо, то русскому смерть), антирационализм, мистическая особость русской цивилизации («Умом Россию не понять...»), соединившей восточный и западный культурные миры, отсутствие чувства меры в душевных движениях и в моделях поведения, сочетание варварства и душевной утонченности, бездеятельность, покорность и бунтарство, презрение к материальному, мистицизм, фатализм, истовая религиозность, мессианство. Надо признать, образ России оказался наиболее близким самим латиноамериканцам в силу сходства этих имагологических стереотипов с теми, что вырабатывались в самой латиноамериканской культуре и составили базовый субстрат ее художественного кода.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ф. де Миранда. Российский дневник. М.—СПб, 2000, с. 67, 50, 72, 50—51, 73, 82—83.

² В.Н.Кутейщикова. Литературные связи Латинской Америки и России. — История литератур Латинской Америки. Кн. 3. М., 1994.

³ Подробнее см.: Ю.Л.Оболенская. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. М., 2010, с. 29—44.

⁴ П.Неруда. Признаюсь: я жил. М., 1978, с. 80.

⁵ A.UsIar Pietro. Letras y hombres de Venezuela. Madrid, 1978, p. 264.

⁶ Х.Мартин. Выставка Русского художника Верещагина. — Латинская Америка, 1995, № 5, с. 78. Перевод Ю.Гирин.

⁷ Там же.

⁸ E.Gómez Carrillo. La Rusia actual. Paris, 1906, p. 3, 14, 3, 107, 25, 26, 22, 73, 104—105.

⁹ Ibid., p. 82, 52, 194, 175.

¹⁰ Р.Дарио. Избранное. М., 1981, с. 76. Перевод Ф.Кельина.

¹¹ A.Castiñeiras. El alma de Rusia. Buenos Aires, 1923, p. 71, 72—73, 93, 101, 114, 115.

Продолжение следует